



Драматургия жизни

Экран и сцена. - 1996. - 29 февр. - 7 марта.

Первый прицел. Мимо... мимо... мимо

Из этюдов об Иосифе Бродском

Точность первого прицела, подтвержденная дальнейшей, почти сорокалетней работой, — признак великого поэта? Великого жребия? Первое же стихотворение Бродского высвечивает его путь до последней точки. Я помню, как оно появилось — положенное на музыку Клячкиным и спетое Визбором, пошло (полетело), минуя печать, из уст в уста. “Пилигримы”. Россия выучила это стихотворение вместе с именем автора, восемнадцатилетнего питерского... то ли школьника, то ли бросившего школу безработного: на рубеже шестидесятых биография еще невнятна и, как вскоре выяснится, еще и не начата, но врезается — образ.

Образ пилигрима, проходящего мир насквозь. Даже не “насквозь”, а круче: “мимо”.

В музыке стиха это “мимо” накладывается на “пилигрима”, повторяется заклинанием — звучит как пароль.

Мимо чего?

Мимо всего.

Мимо стадионов и площадей, символов массовой истерии: “мимо ристалищ, капищ”. Ну, а если капище — место богослужения? Все равно мимо. Храм приравнен к торжищу: мимо! “Мимо храмов и баров”. Бар — символ жизни низменной, испорченной, как и базар. Мимо, мимо!

Но кладбище — символ жизни отошедшей и очищенной в памяти... и все-таки мимо! Мимо великих регалий — ислама и христианства! “Мимо Мекки и Рима”. Впрочем. Рим — это еще и мировая государственность... Мимо! Весь мир ото-

двинут, отринут, отброшен.

А люди, горящие в этом мире?

И они отброшены: мимо!

Такое тотальное неприятие можно было бы окрестить обрусевшим словом “нигилизм”, если бы была тут хоть капля базаровский ярости. Но — ни ярости, ни страсти. Ледяное неучастие. Это не борьба с миром, с его пошлостью, подлостью, низостью, слабостью, это — какое-то зябкое отстранение. Это не нигилизм — это существование в другом измерении. Наивное, отрешенное, упрямое, детски-радостное, старчески-горькое.

Пилигримы — силуэты, тени, отсветы. Видишь сгорбленность фигур, убогость одежды. Более ничего. Это не “пилигрим”, в отдельном облике которого можно уловить черты индивида, — это “пилигримы” вообще: каста, поветрие. Чистый дух, сквозящий мимо всего.

Пейзаж прохода (пролета) — пустыня. Звезды. Зарницы светил. Из всего живого только птицы — единственные обитатели Вселенной, к которым выражено сочувствие.

Все остальное — мираж. Ложь. Мир неисправим, жесток, невменяем. Постижимый в частностях, он бесконечно чужд и далек как целое. Ни уверенность не спасает в этом мире, ни вера. Ни “в себя”, ни “в Бога”.

Так что остается?

Ничего. Фатальная смена рассветов и закатов. Фатальная смена иллюзий. Фатальная дорога мимо псевдобытия... куда? К Богу, как полагалось бы пилигримам?

Но и Бог — такая же бестолковая мнимость, как все в ЭТОМ существовании.

А в “том”, в “другом” существовании — есть ли что-нибудь утешительное?

Тут — кровь и плоть людей, ставших солдатами, солдат, ставших навозом Истории.

А “там”? Ничего.

Ничего, кроме эфемерности, которая может спасти и называется “Слово”.

Слово — как единственное оправдание бытия в этом небытии, единственная гарантия существования Смысла на тысячу лет вперед. “Поэзия” — как единственная возможность одобрить этот мир, испугать его.

Мысль, достаточно дискуссионная, однако, подкрепленная тридцать лет спустя в Нобелевской лекции: есть некий эстетический инстинкт, некий “вкус”, некое присутствие “стиля” в этом пространстве мнимостей, в этом времени, распадающемся на мгновения, и только отсюда может родиться этика, мораль, нравственность, смысл, добро, истина... все то, МИМО чего проходит Поэзия, обреченная перемалывать горы впечатлений, прокладывая дорогу к святине, которая недостижима.

Развязка дана уже в экспозиции. Поэт, надежный зрением безошибочно острым, голографически предметным, стоит перед миром, каждый предмет которого он может взять на точнейший прицел.

И целится — мимо.

Лев АННИНСКИЙ.